

арабески



Тамара Минхраева



Родилась
в г. Вилкове
Одесской
области.
По профессии
врач
(окончила
Казанский
государственный
медицинский
институт).
Пишет стихи
и прозу.
Печаталась
в казанских
газетах,
журнале
«Казань»,
коллективных
сборниках

Лютик

Отцу моему посвящаю

Уже сколько раз со мной такое повторялось: рассматриваю полки книжного магазина, и вдруг радостно учащается сердце – нахожу давно искомое. Ощущение счастья при этом, как у искателя жемчуга.

Вот и теперь: я держу небольшую книжечку в чёрном переплёте: Венедикт Ерофеев «Москва–Петушки», скандально нашумевшую, бесконечно ругаемую и теперь ещё не остывшую от удивления и горячих пересудов. Мне не унять счастливого нетерпения, пока тряусь в автобусе по дороге домой. Пробегаю первые страницы и останавливаюсь на одной из них: «Спиртного ничего нет, – сказал вышибала ресторана Курского вокзала и оглядел меня всего, как дохлую птичку или грязный лютик».

Почему «или»? Что общего между дохлой птичкой и грязным лютиком? – беспокоится мой догматический ум. Ну, с птичкой всё более-менее понятно. В вышибале вид испитого мужика, кроме презрения, ничего не вызывает, ему «птичку» не «жалко». А вот «грязный лютик»... В каких лабиринтах психики, в каких клетках опьянённого мозга возникают у автора импульсы для необычных сравнений? Мне это интересно. Хотя какая может быть логика в том, о чём думает человек в крепком подпитии, тем более что состояние это для него перманентно? И ведь грязное не что-нибудь, а маленький нежный цветок. Что литературно и психологически может быть эквивалентно цветку? Конечно же – душа. О! Её-то можно испачкать.

Лютик. Понятно, цветок незаметный, сорняк среди такой же сорной травы,

какую привычно топчут. Но вот грязный лютик – это и вовсе что-то... вроде как больше унижить уже невозможно. Так во мне постепенно рождается понимание, одно из тех, которое приходит с чувством жалости.

Образ грязного лютика у автора – это самоуничужение и чувство вины за свой страшный недуг, беспросветную тьму, до дрожания рук, которое не унять, не приняв очередной дозы. «Я не верю, – говорит он, – чтобы кто-нибудь из вас таскал в себе то горчайшее месиво, в котором более всего скорби и страха... И ещё немоты. Да вы всё равно этого не поймёте. И каждый день, с утра «моё прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нём до вечера. У других, я знаю, это случается, если кто-нибудь вдруг умрёт из близких. Но у меня-то это вечно! Хоть это-то поймите!» Он просит у ближнего понимания, в которое сам не верит.

Грязный лютик. Я представляю зелёный луг с жёлтыми цветочками о пяти лепестках – в детстве мы их называли «куриной слепотой», – яркие, с атласным блеском, вблизи – завораживающие.

Однажды где-то я прочитала: Геринг каждой весной специально выезжал в поле, когда расцветали лютики. Он выходил из машины, долго стоял на ветру, поднеся к глазам руку в белой перчатке, и плакал от умиления. А в это время один за другим строились лагеря смерти. Из-за лютиков я его вспомнила или потому что сегодня Девятое мая?

Грязный лютик. Мне видится дорога, размытая дождём, как по ней едет, буксуя среди луж, тяжёлая машина, и грязная жижа из-под колёс заливает цветы, растущие у дороги.

Когда дочитаю повесть, возвращусь к главе «65-й километр – Павлово-По-

Липы

Памяти поэта

сад». И уже не засмеюсь, как в первый раз. В самую пору плакать теперь, когда уже многое осмыслено.

Митрич, мужик, каких, слава богу, ещё много в России, рассказывает соседям по купе на ходу выдуманную историю о любви. По условиям игры рассказать надо так, чтоб непременно было «как у Тургенева». И он рассказывает. В Митриче, в мозг которого советская школа старательно вбивала безбожие, христианской любви больше, чем у любого послушника церкви.

Я хочу, чтобы эту главу прочитали другие. Все смеются, но почему-то не плачут и даже не умиляются. Ну и пусть. Когда-то и я испытывала неловкость и стыд за родного отца. Через несколько лет после возвращения с фронта он стал сильно пить. И всегда плакал, сидя перед выпитой бутылкой водки. «Ты не знаешь, дочка, – говорил он, – каково это: на тебя умоляюще смотрит фриц, подняв руки, просит пощады, а ты его насквозь протыкаешь штыком, потому что в плен приказано не брать, и ты выполняешь долг защитника Родины. А что долг, когда я убиваю живого человека?! Разве нетронутым остаётся в тебе твоё человеческое?»

Бедный папа! Он так и не сумел забыть войны, он так и не пережил этой страшной необходимости убивать себе подобных, и он до самой смерти не мог выйти из запоев. Помню, как порою ненавидела его за свою изломанную юность. Понимание пришло слишком поздно, через несколько лет после его смерти. Прости, отец!

Грязный лютик. Снова пойдёт дождь и омоет блестящие лепестки. И солнце высушит их. Но появятся лужи. И вновь проедет машина, которую захочется назвать машиной судьбы. Не везёт цветам, растущим при дороге.

Я смеюсь сквозь слёзы, плачу над беззащитностью Митрича, сохранившего в себе наивность, чистоту и христианское смирение. И благодарю автора за его подарок – за любовь.

Стою на балконе. Внизу спиливают тополя, докучавшие обилием летающего пуха в течение всего лета, начиная с мая.

Меня трясёт, как при высокой температуре.

Ну не будет теперь пуха, но не будет и деревьев. Пилят, пилят по живому, красивому... Не чужому. Так я думала несколько лет назад. Теперь на месте тополей длинным рядом выстроились окрепшие липы. Густая крона переливается на свету, купаясь в солнечных бликах, перешёптывается на ветру сердцевидными листочками.

Сегодня – первый день отпуска. Никто не звонит. Вот и хорошо, я как раз собиралась как следует выспаться.

Телефон зазвонил над самым ухом. Почему-то он напугал меня.

– Когда? – спрашиваю осевшим голосом.

– Вчера похоронили. Ты меня слышишь?

– Да... У меня на столе лежит сборник его стихов. Вчера взяла с полки, чтоб перечитать свои любимые «Липы».

– Липы?

– Да. Я часто перечитываю их.

**В день откровенной нежности
обыкновенного года
в городе и окрестностях
липы сочались медом...**

Попрощавшись, я положила трубку.

А ведь он моложе меня, лет на десять. Не успела спросить, но, скорее всего, он умер скоропостижно. Мне так хотелось думать, потому что самой мечталось в свой час уйти вот так: внезапно, сразу, ничего не успев осознать. Но смерть есть смерть. Каждый уходит по расписанию, в которое никому не суждено заглянуть, иначе как можно было бы жить, отсчитывая секунды, часы, годы?..

Мы не были хорошо знакомы, но его уход я ощущала теперь как если бы потеряла близкого человека.

Однажды – это было года два назад – я увидела его в музее. Он стоял у «Портрета Карпаковой» кисти Тропинина и задумчиво его разглядывал. Я спешила, почти бежала через зал и мельком поймала на себе брошенный им взгляд – его отвлёк стук каблучков. Я уже была знакома с его поэзией, а сейчас узнала лицо по фотографии. Мы ещё раз оглянулись друг на друга. Позже всякий раз, как я пробегала мимо портрета Карпаковой и видела в стекле своё отражение, рядом, как тогда, память моя в том стекле дорисовывала другое лицо. «Все поэты такие грустные? – задавала себе вопрос.

Почему мне так запомнилась та мимолётная встреча? Не потому ли, что актёров и поэтов мы считаем небожителями?

**К памяти чуть притронуться –
нежностью снова тронет
эта – почти бессонница –
сладкая полудрёма...**

Пленительная живым мерцанием глаз и доверчивостью детской улыбки, Карпакова будет теперь сильнее мне напоминать о скоротечности пребывания в этом мире. Она и сама ушла из жизни совсем юной.

**День, позабытый полностью,
был до конца заполнен
этой почти влюблённостью,
только в кого – не помню.**

Печаль неприкаянности, самолюбиво скрываемая, жажда любви, старательно упрятываемая. Помню его у памятника Державину в день рождения Пушкина. У памятника самого Пушкина тогда велись ремонтные работы. Как-то уж очень хорошо было на душе. Пушкин объединял со всеми, растапливал сердце, кружил голову в сладком фантазийном предчувствии другой жизни, в которой уже не будет меня, но будут мои нежные белокурые внуки, и они

вот так же, замирая от восторга, услышат наполненные звуками скверы и улицы: «На холмах Грузии лежит ночная мгла» – и далее, далее... «Печаль моя полна тобою»... Приятно кружилась голова... Сколько же на земле нашей талантов!

«Да здравствует Марья Петровна, и ножка и ручка ея!» – читал поэт, смущённо улыбаясь. Но глаза оставались грустными. Он стоял на площадке у микрофона, всеми обозреваемый, что-то неприкаянное было во всём его облике: он забыл почистить ботинки и явно не оказалось никого в тот день, кто бы погладил ему рубашку.

Я никогда не видела его оживлённым, размахивающим руками или громко смеющимся. «Плохой рассказ, Саша», – устало говорил он юноше, написавшему длинный и назидательный рассказ о неверной любви. И меня тогда тронула эта такая простая, из простых слов оценка: «Плохой рассказ, Саша» – и больше ничего.

Листаю страницы его поэтического сборника. В этом маленьком томике – мир поэта, жившего напряжённой внутренней жизнью. Мир этот огромен, очень человеческий. Кто способен всё это понять и близко принять к сердцу? Немногие. Времени нет в текучке выживаемости, да и книг выпускается много, не знаешь, за какую взяться. Но многие ли из них заставляют облиться слезами? «Одиночество – сон, улица, дом», – читаю. И всё равно – одиночество, куда ни повернись. Смотрю на фотографию. Лицо замкнутое, в нём – неприкрытая гордыня. Не хочет кричать: «Найдись, душа!».

Говорят, он порою был невнимателен и чёрств, но ведь и Пушкин не всегда был глянцевым.

Скоро липы зацветут. Внимательно вглядываюсь, нет ли пушистой желтизны между листочками. Даст бог, не пропущу этого дня.

**День ни одним событием
Из череды не выпал.
Всё было так обыденно.
Только вот разве липы.**

Погружаясь в тишину этих строк, всем существом своим отдаюсь их спокойной истовости.

Всё было так обыденно.
Только вот разве липы.

Зрелое принятие ухода? Может, он уже тогда закрывал за собой дверь и не было ничего, что бы удерживало его на этом берегу?

Только вот разве липы.

186

Вчерашние метели

Знаю, пройдёт затяжная стужа.

А. Каримова

Проснуться в полночь, нечаянно вспомнить и сплотнуть обиду – так привычно!

А потом босиком подбежать к окну и увидеть: сосна, застывшая в инее при полной луне, так прекрасна!

Тихо. Сказочно. Ясно...

А утром в том же окне глазам открывается бездна синего...

Ещё зима, а на ветвях когтистых уже нежится влага. В утреннее окно властно врываются солнца лучи.

Кто-то сказал, что одиночество – благо... Я согласна с ним.

Несовпадения

– Давай жить вместе. Я люблю лето. Твои глаза цвета резеды будут напоминать мне моё любимое время года.

– Нет, – Она решительно покачала головой. – Я люблю подолгу смотреть на пылающий огонь в камине, когда за окном – снежное безмолвие.

– Но времена года меняются. Нас сможет примирить осень. Увядающий

лист напомнит тебе рыжий огонь в камине. А для меня ещё достаточно будет зелени после ушедшего лета.

– Нет, – грустно сказала Она. – Красота увядания повергает меня в печаль. Больно. Вот тут. – Она приложила ладонь к сердцу.

– Жаль, – произнёс Он. – Тогда прощай.

Она смотрела на его удаляющуюся спину, вспомнила полный отчаянной мольбы его взгляд.

– Постой! – хотелось крикнуть ей. – Я согласна быть с тобой! Твои глаза будут напоминать мне голубую метель зимы!

Но вслух Она этого не произнесла.

– Прощай, – прошептала Она чуть слышно.

Рождение

Читаю: «Лицо скорбное и высокое». И думаю: «Всё правильно. Радость не бывает высокой. Высокой бывает только скорбь. Радость тянется к земле, печаль – к небу».

Когда была сотворена земля, «увидел Бог, что это хорошо». А людям сказал: «И будет у вас скорбь».

Высокое и низкое, земное и небесное – противоречивый план мироздания. Высокий план и низменного плен. Иначе на свет не родиться.

Оттого и лицо бывает «высокое и скорбное».